

В. Г. Белинский

**Сочинения Александра
Пушкина. Статья
девятая**



Виссарион Григорьевич Белинский

Сочинения Александра Пушкина. Статья девятая

Подлинной вершиной всего пушкинского цикла являются восьмая и девятая статьи, в которых разбирается «Евгений Онегин». Это до сих пор во многих отношениях – лучшее из всего написанного о романе Пушкина.

«Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую, сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества, играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в немцев, несмотря на все это, пора нам, наконец, признаться, что еще и до сих пор мы плохие рыцари, что наше внимание к женщине, наша готов-

ность жить и умереть для нее, до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственно нашего изобретения, а заимствованною...»

**Виссарион Белинский
Сочинения Александра
Пушкина. Статья девятая**

*Санкт-Петербург. Одиннадцать то-
мов 1838–1841 г.*

«Евгений Онегин» (*Окончание*)

Велик подвиг Пушкина, что он первый в своем романе поэтически воспроизвел русское общество того времени и в лице Онегина и Ленского показал его главную, то есть мужскую, сторону; но едва ли не выше подвиг нашего поэта в том, что он первый поэтически воспроизвел, в лице Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всех состояниях, во всех слоях русского общества, играет первую роль; но мы не скажем, чтоб женщина играла у нас вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играет. Исключение остается только за высшим кругом, по крайней мере до известной степени. Давно бы пора нам сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всем копировать европейские обычаи, несмотря на наши балы с танцами, несмотря на отчаяние славянолюбов, что мы совсем переродились в *немцев*, несмотря на все это, пора нам, наконец, признаться, что еще и до сих пор мы плохие рыцари, что наше внимание к

женщине, наша готовность жить и умереть для нее, до сих пор как-то театральны и отзываются модною светскою фразою, и притом еще не собственно нашего изобретения, а заимствованною. Чего доброго! теперь и *поштенное* купечество с бородою, от которой попахивает *маненько* капусткою и лучком, даже и оно, идя по улице с *хозяйкою*, ведет ее под руку, а не толкает в спину коленом, указывая дорогу и заказывая зевать по сторонам; но дома... Однако зачем говорить, что бывает дома? Зачем выносить сор из избы?.. Набравшись готовых чужих фраз, кричим мы и в стихах и в прозе: «женщина – царица общества; ее очаровательным присутствием украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключением высшего светского): везде мужчины – сами по себе, женщины – сами по себе. И самый отчаянный любезник, сидя с женщинами, как будто жертвует собою из вежливости; потом встает и с утомленным видом, словно после тяжелой работы, идет в комнату мужчин как бы для того, чтоб свободно вздохнуть и освежиться. В Европе женщина действительно царица общества:

весел и горд мужчина, с которым она больше говорит, чем с другими. У нас наоборот: у нас женщина ждет, как милости, чтоб мужчина заговорил с нею; она счастлива и горда его вниманием. И как же быть иначе, если то, что называется тоном и любезностью, у нас заменено жеманством, если у нас все любят поэзию только в книгах, а в жизни боятся ее пуще чумы и холеры. Как вы подадите руку девушке, если она не смеет опереться на нее, не испросив позволения у своей маменьки? Как вы решитесь говорить с нею много и часто, если знаете, что за это сочтут вас влюбленным в нее или даже и огласят ее женихом? Это значило бы скомпрометировать ее и самому попасть в беду. Если вас сочтут влюбленным в нее, вам некуда будет деваться от лукавых и остроумных намеков и насмешек друзей ваших, от наивных и добродушных расспросов совершенно посторонних вам людей. Но еще хуже вам, когда заключат, что вы хотите жениться на ней: если ее родители не будут видеть в вас выгодной партии для своей дочери, они откажут вам от дома и строго запретят дочери быть любезной с вами в дру-

гих домах; если они увидят в вас выгодную партию – новая беда, страшнее (прежней: раскинут сети, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законным браком прежде, нежели успеете опомниться и спросить себя: да как же и когда же случилось все это? Если же вы человек с характером и не поддадитесь, то наживете «историю», которую долго будете помнить. Отчего все это происходит? Оттого, что у нас не понимают и не хотят понимать, что такое женщина, не чувствуют в ней никакой потребности, не желают и не ищут ее, оттого, что у нас нет женщины. У нас «прекрасный пол» существует только в романах, повестях, драмах и элегиях, но в действительности он разделяется на четыре разряда: на девочек, на невест, на замужних женщин и, наконец, на старых дев и старых баб. Первыми, как детьми, никто не интересуется; последних все боятся и ненавидят (и часто поделом); следовательно, наш прекрасный пол состоит из двух отделов: из девиц, которые должны выйти замуж, и из женщин, которые уже замужем. Русская девушка – не женщина в европейском смысле этого слова, не чело-

век: она не что другое, как *невеста*. Еще ребенком она называет своими женихами всех мужчин, которых видит в своем доме, и часто обещает выйти замуж за своего *папашу* или за своего *брatца*; еще в колыбели ей говорили и мать, и отец, и сестры, и братья, и мамки, и няньки, и весь окружающий ее люд, что она – невеста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двенадцать лет, и мать, упрекая ее в лености, в неумении держаться и тому подобных недостатках, говорит ей: «не стыдно ли вам, сударыня: ведь вы уже *невеста!*» Удивительно ли после этого, что она не умеет, не может смотреть сама на себя, как на женственное существо, как на человека, и видит в себе только *невесту*? Удивительно ли, что с ранних лет до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, все думы, все мечты, все стремления, все молитвы ее сосредоточены на одной *idée fixe*[1]: на замужестве, что выйти замуж – ее единственное страстное желание, цель и смысл ее существования, что вне этого она ничего не понимает, ни о чем не думает, ничего не желает и что на всякого неженатого мужчину

она смотрит опять не как на человека, а только как на жениха? И виновата ли она в этом? С восемнадцати лет она начинает уже чувствовать, что она – не дочь своих родителей, не любимое дитя их сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшение своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товар, лишняя мебель, которая, того и гляди, спадет с цены и не сойдет с рук. Что же остается ей делать, если не сосредоточить всех своих способностей на искусстве ловить женихов? И тем более, что только в одном этом отношении и развиваются ее способности благодаря урокам «дражайших родителей», милых тетушек, кузин и т. д. За что больше всего упрекает и бранит свою дочь попечительная маменька? За то, что она не умеет ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть для нее выгодною партией. Чему она больше всего учит ее? Кокетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти. И, какова бы

ни была по своей натуре бедная дочь, она невольно входит в роль, которую ей дала жизнь и в таинство которой ее так прилежно, так основательно посвящают. Дома ходит она неряхою, с непричесанною головою, в запачканном, узеньком и коротком платьишке лилючючего ситца, в стоптанных башмаках, в грязных, спустившихся чулках: в деревне ведь кто же нас видит, кроме дворни, – а для нее стоит ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завиделся экипаж, обещающий неожиданных гостей, – наша невеста подымает руки и долго держит их над головою, крича впопыхах: *гости едут, гости едут!* От этого руки из красных делаются белыми: *затея сельской остроты!* Затем весь дом в смятении: маменька и дочка умываются, причесываются, обуваются и на грязное белье надевают шерстяные или шелковые платья, пять лет тому назад сшитые. О чистоте белья заботиться смешно: ведь белье под платьем, и его никто не видит, а рядиться – известное дело – надо для других, а не для себя. Но вот, рано или поздно, наконец, тайные стремления и жаркие обеты готовы свершиться: кандидат-невеста – уже действи-

тельная невеста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась в него только с той минуты, как поняла, что он имеет на нее виды. И ей кажется, что она действительно влюблена в него. Болезненное стремление к замужеству и радость достижения способны в одну минуту возбудить любовь в сердце, которое так давно уже раздражено тайными и явными мечтами о браке. Притом же, когда дело к спеху и торопят, то поневоле влюбитесь сразу, не имея времени спросить себя, точно ли вы любите или вам только кажется, что любите... Но «дражайшие родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замуж; подготовить же ее к состоянию замужества, объяснить ей обязанность жены, матери, сделать ее способною к выполнению этой обязанности, – они не подумали. И хорошо сделали: нет ничего бесполезнее я даже вреднее, как наставления, хотя бы и самые лучшие, если они не подкрепляются примерами, не оправдываются в глазах ученика всю совокупностью окружающей его действительности. «Я вам пример, сударыня!» – беспрестанно повторяет

диктаторским тоном мать своей дочери. И дочь преспокойно копирует свою мать, готовя в своей особе свету и будущему мужу второй экземпляр своей маменьки. Если ее муж – человек богатый, он будет доволен своею женою: дом у них, как полная чаша, всего много, хотя» все безвкусно, нелепо, грязно, пыльно, в беспорядке, вычищается только перед большими праздниками (и тогда в доме подымается возня, делается вавилонское столпотворение в лицах); дворня огромная, слуг бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вам чашку чаю... А недавняя невеста, теперь молодая дама? О, она живет в «полном удовольствии!», она, наконец, достигла цели своей жизни – она уже не сирота, не приемыш, не лишнее бремя в родительском доме: она хозяйка у себя дома, сама себе госпожа, пользуется полною свободою, – едет куда и когда хочет, принимает у себя кого ей угодно; ей уже не нужно более притворяться то невинною овечкою, то кротким ангелом; она может капризничать, падать в обмороки, повелевать, мучить мужа, детей, слуг. У ней бездна затей: карета – не карета, шаль – не шаль,

дорогих игрушек вдоволь; она живет барыней-аристократкой, никому не уступает, но всех превосходит, и муж ее едва успевает закладывать и перезакладывать имение... Дитя нового поколения, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-как наблюдает в них даже какую-то получистоту, полуопрятность: ведь это комнаты для гостей, комнаты парадные, комнаты напоказ; полное торжество грязи может быть только в спальней, в детской, в кабинете мужа, – словом, во внутренних комнатах, куда гости не ходят. А у ней беспрестанно гости, возле нее беспрестанно кружок; но она пленяет гостей своих не светским умом, не грацией своих манер, не очарованием своего увлекательного разговора, – нет, она только старается показать им, что у нее всего много, что она богата, что у ней все лучшее – и убранство комнат, и угощение, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что таких, как она, немного... Содержание разговоров составляют сплетни и наряды, наряды и сплетни. Бог благословил ее замужество: что ни год, то ребенок. Как же она будет воспитывать детей сво-

их? Да точно так же, как сама была воспитана своею маменькою: (пока малы, они прозябают в детской, среди мамок и нянек, среди горничных, на лоне холопства, которое должно внушить им первые правила нравственности, развить в них благородные инстинкты, объяснить им различие домового от лешего, ведьмы от русалки, растолковать разные приметы, рассказать всевозможные истории о мертвецах и оборотнях, выучить их браниться и драться, лгать, не краснея, приучить беспрестанно есть, никогда не наедаясь. И милые дети очень довольны сферою, в которой живут: у них есть фавориты между прислугою и есть нелюбимые; они живут дружно с первыми, ругают и колотят последних. Но вот они подросли: тогда отец делай что хочешь с мальчиками, а девочек поучат прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепьяно, немножко болтать по-французски – и воспитание кончено; тогда им одна наука, одна забота – ловить женихов.

Но если наша невеста выйдет за человека небогатого, хотя и не бедного, но живущего немного выше своего состояния, посредством

умения строгим порядком сводить концы с концами: тогда горе ее мужу! Она в своей деревне никогда ничего не делала (потому что барышня ведь не холопка какая-нибудь, чтоб стала что-нибудь делать), ничем не занималась, не знает хозяйства, а что такое порядок, чистота, опрятность в доме, – этого она нигде не видала, об этом она ни от кого не слыхала. Для нее выйти замуж – значит сделаться барынею; стать хозяйкою – значит повелевать всеми в доме и быть полною госпожою своих поступков. Ее дело – не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всем этом? Какое имеете вы право требовать от нее, чтоб она была не тем, чем сами же вы ее сделали? Можете ли вы обвинять даже ее родителей? Разве не вы сами сделали из женщины только невесту и жену, и ничего более? Разве когда-нибудь подходили вы к ней бескорыстно, просто, без всяких видов, для того только, чтоб насладиться этим ароматом, этою гармониею женственного существа, этим поэтическим очарованием присутствия и сообщества

женщины, которые так кротко, успокоительно и обаятельно действуют на жесткую натуру мужчины? Желали ль вы когда-нибудь иметь друга в женщине, в которую вы совсем не влюблены, сестру в женщине вам посторонней? Нет! если вы входите в женский круг, то не иначе, как для выполнения обычая приличия, обряда; если танцуете с женщиною, то потому только, что мужчинам танцевать с мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда с положительными видами – ради женитьбы или волокитства. Ваш взгляд на женщину чисто утилитарный, почти коммерческий: она для вас – капитал с процентами, деревня, дом с доходом; если не это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много если одалиска...

Конечно, из всего этого бывают исключения; но общество состоит из общих правил, а не из исключений, которые всего чаще бывают болезненными наростами на теле общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждают собою наши так называемые «идеальные девы». Они обыкновенно страстные

любительницы чтения и читают много и скоро, едят книги. Но как и что читают они, боже великий!.. Всего достолюбезнее в идеальных девах уверенность их, что они понимают то, что читают, и что чтение приносит им большую пользу. Все они обожательницы Пушкина, – что, однакож, не мешает им отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова, иные из них с удовольствием читают даже Гоголя, что, однакож, нисколько не мешает им восхищаться повестями гг. Марлинского и Полевого. Все, что в ходу, о чем пишут и говорят в настоящее время, все это сводит их с ума. Но во всем этом Они видят свою любимую мысль, оправдание своей настроенности, то есть идеальность, видят ее даже и там, где ее вовсе нет или где она осмеивается. У всех у них есть заветные тетрадки, куда они списывают стишки, которые им понравятся, мысли, которые поразят их в книге. Они любят гулять при луне, смотреть на звезды, следить за течением ручейка. Они очень наклонны к дружбе, и каждая ведет деятельную переписку с своей приятельницею, которая живет с нею в одной деревне, а иногда и в

одном доме, только в разных комнатах. В переписке (огромными тетрадищами) сообщают они друг другу свои чувства, мысли, впечатления. Сверх того, каждая из них ведет свой дневник, весь наполненный «выписными чувствами», в которых (как во всех дневниках идеальных и внутренних натур мужеска и женска пола) нет ничего живого, истинного, только претензии и идеальничанье. Они презирают толпу и землю, питают непримиримую ненависть ко всему материальному. Эта ненависть у них часто простирается до желанья вовсе отрешиться от материи. Для этого они морят себя голодом, не едят иногда по целой неделе, жгут на свечке пальцы, кладут себе на грудь под платье, снегу, пьют уксус и чернила, отучают себя от сна; и этим стремлением к высшему, идеальному существованию до того успевают расстроить свои нервы, что скоро превращаются в одну живую и самую материальную болячку... Ведь крайности сходятся! Все простые человеческие и особенно женские чувства, как, например, страстность, способная к увлечению чувств, любовь материнская, склонность к

мужчине, в котором нет ничего необыкновенного, гениального, который не гоним несчастней, не страдает, не болен, не беден, – все такие простые чувства кажутся им пошлыми, ничтожными, смешными и презренными. Особенно интересны понятия «идеальных дев» о любви. Все они – жрицы любви, думают, мечтают, говорят и пишут только о любви. Но они признают только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую, – Брак есть профанация любви в их глазах; счастье – опошление любви. Им непременно надо любить в разлуке, и их высочайшее блаженство – мечтать» при луне о предмете своей любви и думать: «может быть, в эту минуту и он смотрит на луну и мечтает обо мне; так, для любви нет разлуки!» Жалкие рыбы с холодной кровью, идеальные девы считают себя птицами; плавая в мутной воде искусственной нервической экзальтации, они думают, что парят в облаках высоких чувств и мыслей. Им чуждо все простое, истинное, задушевное, «страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», они любят только себя, они не подозревают, что только

тешат свое мелкое самолюбие трескучими шутихами фантазии, думая быть жрицами любви и самоотвержения. Многие из них непрочь бы и от замужества и при первой возможности вдруг изменяют свои убеждения и из идеальных дев скоро делаются самыми простыми бабами; но в иных способность обманывать себя призраками фантазии доходит до того, что они на всю жизнь остаются восторженными девственницами и таким образом до семидесяти лет сохраняют способность к сентиментальной экзальтации, к нервическому идеализму. Самые лучшие из этого рода женщин рано или поздно образумливаются; но прежнее их ложное направление навсегда делается черным демоном их жизни и, подобно остаткам дурно залеченной болезни, отравляет их спокойствие и счастье. Ужаснее всех других те из идеальных дев, которые не только не чуждаются брака, но в браке с предметом любви своей видят высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствии всякого нравственного развития и при испорченности фантазии, они создают свой идеал брачного счастья, и когда увидят невоз-

возможность осуществления их нелепого идеала, то вымещают на мужьях горечь своего разочарования.

Идеальными девами всех родов бывают по большей части девицы, которых развитие было предоставлено им же самим. И как винить их в том, что, вместо живых существ, из них выходят нравственные уроды? Окружающая их положительная действительность в самом деле очень пошла, и ими невольно овладевает неотразимое убеждение, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой действительности. А между тем самобытное, не на почве действительности, не в сфере общества совершающееся развитие всегда доводит до уродства. И, таким образом, им предстоят две крайности: или быть пошлыми на общий манер, быть пошлыми, как все, или быть пошлыми оригинально. Они избирают последнее, но думают, что с земли перепрыгнули за облака, тогда как в самом-то деле только перевалились из положительной пошлости в мечтательную пошлость. И что всего грустнее: между подобными несчастными созданиями бывают нату-

ры, не лишённые истинной потребности более или менее человеческого разумного существования и достойные лучшей участи.

Но среди этого мира нравственно увечных явлений изредка удаются истинно колоссальные исключения, которые всегда дорого платятся за свою исключительность и делаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальные, не подозревающие своей гениальности, они безжалостно убиваются бессознательным обществом как очистительная жертва за его собственные грехи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы с почтенным семейством Лариных. Отец не то, чтоб уж очень глуп, да и не совсем умен; не то, чтоб человек, да и не зверь, а что-то вроде полипа, принадлежащего в одно и то же время двум царствам природы – растительному и животному.

*Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий
Ларин,
Господний раб и бригадир,*

Под камнем сим вкушает мир.

Этот мир, вкушаемый под камнем, был продолжением того же самого мира, которым *добрый барин* наслаждался при жизни под татарским халатом. Бывают на свете такие люди, в жизни и счастья которых смерть не производит ровно никакой перемены. Отец Татьяны принадлежал к числу таких счастливицев. Но маменька ее стояла на высшей ступени жизни сравнительно с своим супругом. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтоб прочла его, а потому, что от своей московской кузины наслышалась о Грандисоне. Помолвленная за Ларина, она втайне вздыхала о другом. Но ее повезли к венцу, не спросившись ее совета. В деревне мужа она сперва терзалась и рвалась, а потом привыкла к своему положению и даже стала им довольна, особенно с тех пор, как постигла тайну самовластно управлять мужем.

*Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы.
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь, —*

Всё это мужа не спросясь.

*Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев;
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос.
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Полину,
Стишков чувствительных тет-
радъ
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.*

Словом, Ларины жили чудесно, как живут на этом свете целые миллионы людей. Однообразие семейной их жизни нарушалось гостями:

*Под вечер иногда ходилась
Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.*

.....

*Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни острою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Еще был менее учен.{1}*

И вот круг людей, среди которых родилась и выросла Татьяна! Правда, тут были два существа, резко отделявшиеся от этого круга, – сестра Татьяны Ольга и жених последней, Ленский. Но и не этим существам, было понять Татьяну. Она любила их просто, сама не зная за что, частью по привычке, частью потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала им внутреннего мира души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они – люди другого мира, что они не поймут ее. И действительно, поэтический Ленский далеко не подозревал, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуре и могла ему казаться скорее странною и холодною, нежели поэтической. Ольга еще менее Ленского могла по-

нять Татьяну, Ольга – существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чем не рассуждало, ни о чем не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычке и которое все зависело от привычки. Она очень плакала о смерти Ленского, но скоро утешилась, вышла за улана и из грациозной и милой девочки сделалась дюжинною барынею, повторив собою свою маменьку, с небольшими изменениями, которых требовало время. Но совсем не так легко определить характер Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. В Татьяне нет этих болезненных противоречий, которыми страдают слишком сложные натуры; Татьяна создана как будто вся из одного цельного куска, без всяких приделок и примесей. Вся жизнь ее проникнута тою целостностью, тем единством, которое в мире искусства составляет высочайшее достоинство художественного произведения. Страстно влюбленная, простая деревенская девушка, потом светская дама, Татьяна во всех положениях своей жизни всегда одна и та же: портрет ее в детстве, так мастерски написанный поэтом, впоследствии

является только развившимся, но не изменившимся.

*Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела,
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.*

Задумчивость была ее подругою с колыбельных дней, украшая однообразие ее жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенком она не любила кукол, и ей чужды, были детские шалости; ей был скучен и шум, и звонкий смех детских игр; ей больше нравились страшные рассказы в зимний вечер. И потому она скоро пристрастилась к романам, и романы поглотили всю жизнь ее.

*Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,
Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,*

*И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый поживает,
В привычный час пробуждена,
Вставала при свечах она.*

Итак, летние ночи посвящались мечтательности, зимние – чтению романов, – и это среди мира, имевшего благоразумную привычку громко храпеть в это время! Какое противоречие между Татьяною и окружающим ее миром! Татьяна – это редкий, прекрасный цветок, случайно выросший в расщелине дикой скалы,

*Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.*

Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут к Татьяне. Какие мотыльки, какие пчелы могли знать этот цветок или пленяться им? Разве безобразные слепни, оводы и жуки, вроде господ Пыхтина,

Буянова, Петушкова и тому подобных?{2} Да, такая женщина, как Татьяна, может пленять только людей, стоящих на двух крайних ступенях нравственного мира, или таких, которые были бы в уровень с ее натурою и которых так мало на свете, или людей совершенно пошлых, которых так много на свете. Этим последним Татьяна могла нравиться лицом, деревенскою свежестью и здоровьем, даже дикостью своего характера, в которой они могли видеть кротость, послушливость и безответственность в отношении к будущему мужу – качества, драгоценные для их грубой животности, не говоря уже о расчетах на приданое, на родство и т. п. Стоящие же в середине между этими двумя разрядами людей всего менее могли оценить Татьяну. Надобно сказать, что все эти срединные существа, занимающие место между высшими натурами и чернию человечества, эти *таланты*, служащие связью *гениальности* с *толпою*, по большей части – все люди «идеальные», под стать идеальным девам, о которых мы говорили выше. Эти идеалисты думают о себе, что они исполнены страстей, чувств, высоких стрем-

лений, но, в сущности, все дело заключается в том, что у них фантазия развита на счет всех других способностей, преимущественно рассудка. В них есть чувство, но еще больше сентиментальности и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущения и вечно толковать о них. В них есть и ум, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому в их уме часто бывает много блеска, но никогда не бывает дельности. Главное же, что всего хуже в них, что составляет их самую слабую сторону, их ахиллесовскую пятку, – это то, что в них нет страстей, за исключением только самолюбия, и то мелкого, которое ограничивается в них тем, что они бездейтельно и бесплодно погружены в созерцание своих внутренних достоинств. Натуры теплые, но так же не холодные, как и не горячие, они действительно обладают жалкою способностью вспыхивать на минуту от всего и ни от чего. Поэтому они только и толкуют, что о своих пламенных чувствах, об огне, пожирающем их душу, о страстях, обуревающих их сердце, не подозревая, что все это действительно буря, но только не на море, а в стакане воды. И нет людей,

которые бы менее их способны были оценить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человека, глубоко чувствующего, неподдельно страстного. Такие люди не поняли бы Татьяны: они решили бы все в голос, что если она не дура пошлая, то очень *странное* существо и что, во всяком случае, она холодна, как лед, лишена чувства и неспособна к страсти. И как же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничем не увлекается, ничему не радуется, ни от чего не приходит в восторг, ко всему равнодушна, ни к кому не ласкается, ни с кем не дружится, никого не любит, не чувствует потребности перелить в другого свою душу, тайны своего сердца, а главное – не говорит ни о чувствах вообще, ни о своих собственных в особенности... Если вы сосредоточены в себе и на вашем лице нельзя прочесть внутреннего пожирающего вас огня, – мелкие люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчас объявят вас существом холодным, эгоистом, отнимут у вас сердце поставят при вас один ум, особенно, если вы имеете склонность иронизировать над собственным чувством, хотя бы то было

из целомудренного желания замаскировать его, не любя им ни играть, ни щеголять...

Повторяем: Татьяна – существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нее могла быть или величайшим блаженством, или величайшим бедствием жизни, без всякой примирительной середины. При счастии взаимности любовь такой женщины – ровное, светлое пламя; в противном случае – упорное пламя, которому сила воли, может быть, не позволит прорваться наружу, но которое тем разрушительнее и жгучее, чем больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тем не менее страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою детям, вся отдалась бы своим материнским обязанностям, но не по рассудку, а опять по страсти, и в этой жертве, в строгом выполнении своих обязанностей нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это без фраз, без рассуждений, с этим спокойствием, с этим внешним бесстрастием, с этою наружною холодностью, которые составляют достоинство и величие глубо-

ких и сильных натур. Такова Татьяна. Но это только главные и, так сказать, общие черты ее личности: взглянем на форму, в которую вылилась эта личность, посмотрим на те особенности, которые составляют ее характер.

Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества, нигде не скраться, никуда не уйти ему от него. Самое усилие развиться самостоятельно, вне влияния общества, сообщает человеку какую-то странность, придает ему что-то уродливое, в чем опять видна печать общества же. Вот почему у нас люди с дарованиями и хорошими природными расположениями часто бывают самыми несносными людьми, и вот почему у нас только гениальность спасает человека от пошлости. По этому же самому у нас так мало истинных и так много *книжных, вычитанных* чувств, страстей и стремлений; словом, так мало истины и жизни в чувствах, страстях и стремлениях и так много фразерства во всем этом. Повсюду распространяющееся чтение приносит нам величайшую пользу: в нем на-

ше спасение и участь нашей будущности; но в нем же, с другой стороны, и много вреда, так же, как и много пользы для настоящего. Объяснимся. Наше общество, состоящее из образованных сословий, есть плод реформы. Оно помнит день своего рождения, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать действительно, потому что, наконец, это общество долго составлял не дух, а покррой платья, не образованность, а привилегия. Оно началось так же, как и наша литература: копированием иностранных форм без всякого содержания, своего или чужого, потому что от своего мы отказались, а чужого не только принять, но и понять не были в состоянии. Были у французов трагедии: давай и мы писать трагедии, и г. Сумароков в одном лице своем совместил и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Был у французов знаменитый баснописец Лафонтен, и опять тот же г. Сумароков, по словам его современников, своими притчами далеко обогнал Лафонтена. Таким же точно образом, в самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Горациями, Анакрео-

нами, Гомерами, Виргилиями и т. п. Иностранные произведения все наполнены были любовными чувствами, любовными приключениями, и мы давай тем же наполнять наши сочинения. Но там поэзия книги была отражением поэзии жизни, любовь стихотворная была выражением любви, составлявшей жизнь и поэзию общества: у нас любовь вошла только в книгу, да в ней и осталась. Это более или менее продолжается и теперь. Мы любим читать страстные стихи, романы, повести, и теперь подобное чтение не считается предосудительным даже и для девушек. Иные из них даже сами кропают стишки, и иногда недурные. Итак, говорить о любви, читать и писать о ней у нас любят многие; но любить... Это дело другого рода! Оно, конечно, если с позволения родителей, если страсть может увенчаться законным браком, то почему же и не любить! Многие не только не считают этого излишним, но даже считают необходимым и, женись на приданом, толкуют о любви... Но любить потому только, что сердце жаждет любви, любить без надежды на брак, всем жертвовать увлекающему пламени страсти, —

помилуйте, как можно! ведь это значит сделать «историю», произвести скандал, стать сказкою общества, предметом оскорбительного внимания, осуждения, презрения; сверх того, приличие, правила нравственности, общественная мораль... А! так вы люди, сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачем же вы противоречите себе своею охотою к стихам и романам, своею страстью к патетической драме? Но то поэзия, а то жизнь: зачем мешать их между собою, пусть каждая идет своею дорогою; пусть жизнь дремлет в апатии, а поэзия снабжает ее занимательными снами. Вот это другое дело!..

Но худо то, что из этого другого дела необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзию нет естественной, живой связи, тогда из их враждебно отдельного существования образуется поддельно поэтическая и в высшей степени болезненная, уродливая действительность. Одна часть общества, верная своей родной апатии, спокойно дремлет в грязи грубо матери-

ального существования; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, из всех сил хлопочет устроить себе поэтическое существование, сочетать поэзию с жизнью. Это у них делается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзии в обществе, они берут ее из книг и по ней ображают свою жизнь. Поэзия говорит, что любовь есть душа жизни: итак – надо любить! Силлогизм верен, само сердце за него вместе с умом! И вот наш идеальный юноша или наша идеальная дева ищет, в кого бы влюбиться. По долгом соображении, в каких глазах больше поэзии: в голубых или черных, предмет, наконец, избран. Начинается комедия – и пошла потеха! В этой комедии есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при луне, и отчаяние, и ревность, и блаженство, и объяснение, – все кроме истины чувства... Удивительно ли, что последний акт этой шутовской комедии всегда оканчивается разочарованием, и в чем же? – в собственном своем чувстве, в своей способности любить?.. А между тем подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила доброго,

благородного и умного помещика манчешского сделаться рыцарем дон-Кихотом, надеть бумажную кольчугу, взобраться на тощего Росинанта и пуститься отыскивать по свету прекрасную Дульцинею, мимоходом сражаясь с баранами и мельницами? Между поколениями от двадцатых годов до настоящей минуты сколько было у нас разных донкихотов? У нас были и есть донкихоты любви, науки, литературы, убеждений, славянофильства и еще бог знает чего, всего не перечесть! Выше мы говорили об идеальных девах; а сколько можно сказать интересного об идеальных юношах! Но предмет так богат и неистощим, что лучше не касаться его, чтоб совсем не потерять из виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избегла горестной участи подпасть под разряд идеальных дев, о которых мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляет собою колоссальное исключение в мире подобных явлений, – и теперь не отпираемся от своих слов. Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие, но это не потому, чтоб она вовсе не походила на «идеальных дев», а потому, что ее глубокая, страстная

натура заслонила в ней собою все, что есть смешного и пошлого в идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность. С одной стороны —

*Татьяна верила преданьям
Простонародной старины,
И снам, и карточным гаданьям,
И предсказаниям луны.
Ее тревожили приметы;
Таинственно ей все предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствия теснили грудь.*

С другой стороны, Татьяна любила бродить по полям

*С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.*

Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков со страстию к французским книжкам и с уважением к глубокому творению *Мартына Задеки* возможно только в русской женщине. Весь внутренний мир Татьяны заключался в жажде любви; ничто дру-

гое не говорило ее душе; ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Девические дни ее ничем не были заняты; в них не было своей череды труда и досуга, не было тех регулярных занятий и развлечений, свойственных образованной жизни, которые держат в равновесии нравственные силы человека. Дикое растение, вполне предоставленное самому себе, Татьяна создала себе свою собственную жизнь, в пустоте которой тем мятежнее горел пожиравший ее внутренний огонь, что ее ум ничем не был занят.

*Давно ее воображенье,
Сгорая негой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь!
Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: это он!
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркий, одинокий сон,
Всё полно им: всё деве милой*

Без умолку волшебной силой
Твердит о нем

.....
Теперь с каким она вниманьем
Читает сладостный роман,
С каким живым очарованьем
Пьет обольстительный обман!
Счастливой силою мечтанья,
Одушевленные созданья,
Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де-Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон,
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились.

Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит:
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вздыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,

*В забвеньи шепчет наизусть
Письмо для милого героя...*

Здесь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по-книжному. Зачем было воображать Онегина Вольмаром, Малек-Аделем, де-Линаром и Бергером (Малек-Адель и Вертер: не все да это равно, что Еруслан Лазаревич и корсар Байрона)? Затем, что для Татьяны не существовал настоящий Онегин, которого она не могла ни понимать, ни знать; следовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значение, напрокат взятое из книги, а не из жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачем было ей воображать себя Кларисой, Юлией, Дельфиной? Затем, что она и саму себя так же мало понимала и знала, как и Онегина. Повторяем: создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования, Татьяна, как личность, является нам подобною не изящной греческой статуе, в которой все внутреннее так прозрачно и выпукло отразилось во внешней красоте,

но подобною египетской статуе, неподвижной, тяжелой и связанной. Без книги она была бы совершенно немым существом, и ее пылающий и сохнувший язык не обрел бы ни одного живого, страстного слова, которым бы могла она облегчить себя от давящей полноты чувствами хотя непосредственным источником ее страсти к Онегину была ее страстная натура, ее переполнившаяся жажда сочувствия, все же началась она несколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленского и еще менее могла полюбить кого-нибудь из известных ей мужчин: она так хорошо их знала, и они так мало представляли пищи ее экзальтированному, аскетическому воображению... И вдруг является Онегин. Он весь окружен тайною: его аристократизм, его светскость, неоспоримое превосходство над всем этим спокойным и пошлым миром, среди которого он явился таким метеором, его равнодушие ко всему, странность жизни, – все это произвело таинственные слухи, которые не могли не действовать на фантазию Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ее к решительному эффекту первого свидания с Оне-

гиным. И она увидела его, и он предстал перед нею молодой, красивый, ловкий, блестящий, равнодушный, скучающий, загадочный, непостижимый, весь неразрешимая тайна для ее неразвитого ума, весь обольщение для ее дикой фантазии. Есть существа, у которых фантазия имеет гораздо более влияния на сердце, нежели как думают об этом. Татьяна была из таких существ. Есть женщины, которым стоит только показаться восторженным, страстным, – и они ваши; но есть женщины, которых внимание мужчины может возбудить к себе только равнодушием, холодностью и скептицизмом, как признаками огромных требований на жизнь или как результатом мятежно и полно пережитой жизни: бедная Татьяна была из числа таких женщин...

*Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить;
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты.
Дыханье замерло в устах,*

*И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальний свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит,
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит.*

Разговор Татьяны с нянею – чудо, художественного совершенства! Это целая драма, проникнутая глубокою истиною. В ней удивительно верно изображена *русская барышня* в разгаре томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно в первый период еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце? сестре? но она не *так* бы поняла его. Няня вовсе не поймет; но потому-то и открывает ей Татьяна свою тайну, или, лучше сказать, потому-то и не скрывает она от няни своей тайны,

*...«Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»
– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь.*

– «Да как же ты венчалась, няня?»
– Так, видно, бог велел.
*Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха;
Мне с плачем косу расплели,
И с пеньем в церковь повели,
И вот ввели в семью чужую...*

Вот как пишет истинно народный, истинно национальный поэт! В словах няни, простых и народных, без тривьяльности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взгляд на отношения полов, на любовь, на брак... И это сделано великим поэтом одною чертою, вскользь, мимоходом брошенной!.. Как хороши эти добродушные и простодушные стихи:

*– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слышали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь!*

Как жаль, что именно такая народность не дается многим нашим поэтам, которые так хлопочут о народности – и добиваются одной площадной тривьяльности...

Татьяна вдруг решается писать к Онегину: порыв наивный и благородный; но его источник не в сознании, а в бессознательности: бедная девушка не знала, что делала. После, когда она стала знатною барынею, для нее совершенно» исчезла возможность таких наивно великодушных движений сердца... Письмо Татьяны свело с ума всех русских читателей, когда появилась третья глава «Онегина». Мы вместе со всеми думали в нем видеть высочайший образец откровения женского сердца. Сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли, и писал, и читал это письмо. Но с тех пор много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то детскостью, чем-то «романическим». Иначе и быть не могло; язык страстей был так нов и не доступен нравственно немотствующей Татьяне: она не умела бы ни понять, ни выразить собственных своих ощущений, если бы не при-

бегла к помощи впечатлений, оставленных на ее памяти плохими и хорошими романами, без толку и без разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простым искренним чувством; в нем Татьяна является сама собою:

*Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать. —
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела,
Хоть редко, хоть в неделю раз,
В деревне нашей видеть вас.
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Всё думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне, всё вам скучно,
А мы... ничем мы не блестим,*

*Хоть вам и рады простодушно.
Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.*

Прекрасны также стихи в конце письма:

*....Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю.
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает;
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.*

Все в письме Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно, и просто вместе. Сочетание простоты с истиною составляет высшую красоту и чувства, и делай и выражения...

Замечательно, с каким усилием старается поэт оправдать Татьяну за ее решимость на-

писать и послать это письмо: видно, что поэт слишком хорошо знал общество, для которого писал...

*Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,
Неумолимых, неподкупных,
Непостижимых для ума;
Дивился я их спеси модной,
Их добродетели природной,
И, признаюсь, от них бежал,
И, мнится, с ужасом читал
Над их бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда!
Внушать любовь для них беда,
Пугать людей для них отрада.
Быть может, на берегах Невы
Подобных дам видали вы.*

*Среди поклонников послушных
Других причудниц я видал,
Самолюбиво-равнодушных
Для вздохов страстных и похвал.
И что ж нашел я с изумленьем?
Они, суровым поведением
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умели вновь,
По крайней мере сожаленьем,
По крайней мере звук речей*

Казался иногда нежней,
И с легковерным ослепленьем
Опять любовник молодой
Бежит за милой суетой.

За что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоте
Она не ведает обмана
И верит избранной мечте?
За то ль, что любит без искус-
ства,
Послушная влеченью чувства.
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным.
Умом и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным,
Ужели не простите ей
Вы легкомыслия страстей?

Кокетка судит хладнокровно;
Татьяна любит не шутя
И предается безусловно
Любви, как милое дитя.
Не говорит она: отложим —
Любви мы цену тем умножим.
Вернее в сети заведем;

*Сперва тщеславие кольнем
Надеждой, там недоуменьем
Измучим сердце, а потом
Ревнивым оживим огнем;
А то, скучая наслажденьем,
Невольник хитрый из оков
Всечасно вырваться готов.*

Вот еще отрывок из «Онегина», который выключен автором из этой поэмы и особенно напечатан в IX томе собрания его сочинений (стр. 460):

*О, вы, которые любили
Без позволения родных,
И сердце нежное хранили
Для впечатлений молодых,
Для радости, для неги сладкой –
{3}
Девицы! если вам украдкой
Случалось тайную печать
С письма любезного срывать,
Иль робко в дерзостные руки
Заветный локон отдавать,
Иль даже молча дозволять
В минуту горькую разлуки
Дрожащий поцелуй любви,
В слезах, с волнением в крови, —
Не осуждайте безусловно*

*Татьяны ветреной (?!) моей;
Не повторяйте хладнокровно
Решенья чопорных судей.
А вы, о девы без упрека!
Которых даже речь порока
Страшит сегодня, как змия,
Советую вам то же я:
Кто знает? пламенной тоскою
Сгорите, может быть и вы —
И завтра легкий суд молвы
Припишет модному герою
Победы новой торжество:
Любви вас ищет божество.*

Только едва ли найдет, прибавим мы от себя прозою. Нельзя не жалеть о поэте, который видит себя принужденным таким образом оправдывать свою героиню перед обществом – и в чем же? в том, что составляет сущность женщины, ее лучшее право на существование – что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетом!.. Но еще более нельзя не жалеть об обществе, перед которым поэт видел себя принужденным оправдывать героиню своего романа в том, что она женщина, а не деревяжка, выточенная по подобию женщины. И всего грустнее в этом то, что пе-

ред женщинами в особенности старается он оправдать свою Татьяну... И зато с какою горечью говорит он о наших женщинах везде, где касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Как выдается вот эта строфа в первой главе «Онегина»:

*Причудницы большого света!
Всех прежде вас оставил он.
И правда то, что в наши лета
Довольно скучен высший тон.
Хоть, может быть, иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор
Несносный, хоть невинный вздор.
К тому ж они так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мужчин,
Что вид их уж рождает сплин.*

Эта строфа невольно приводит нас на память следующие стихи, не вошедшие в поэму и напечатанные особо (т. IX, стр. 190):

*Мороз и солнце – чудный день!
Но нашим дамам, видно, лень
Сойти с крыльца и над Невою*

*Блеснуть холодной красотой;
Сидят – напрасно их манит
Песком усыпанный гранит.
Умна восточная система,
И прав обычай стариков:
Они родились для гарема
Иль для неволи.....{4}*

Но и на Востоке есть поэзия в жизни, страсть закрадывается и в гаремы... Зато у нас царствует строгая нравственность, по крайней мере внешняя, а за нею иногда бывает такая не поэтическая поэзия жизни, которую, если воспользуется поэт, то, конечно, уж не для поэмы...

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на памяти. Мы предположили себе другую цель: раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи – харак-

тер Татьяны, как представительницы русской женщины. И потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас – объяснение Онегина с Татьяною в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение – понятно: все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени: он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глуше и безвыходнее. Несчастье дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения; они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастьем, если б оно выпало на их долю... И притом в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет? Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное,

причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии, слишком развитой на счет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена в пятой главе с удивительною истиною и простотою. Посещение Татьяною опустелого дома Онегина (в седьмой главе) и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение, —

*И в молчаливом кабинете,
Забыв на время все на свете,
Осталась наконец одна
И долго плакала она.
Потом за книги принялася.*

*Сперва ей было не до них;
Но показался выбор их
Ей странен. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой:
И ей открылся мир иной.*

.....
*И начинает понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснее, слава богу,
Того, по ком она вздыхать
Осуждена судьбою властной.*

.....
*Ужель загадку разрешила,
Ужели слово найдено?..*

Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания; ум ее проснулся. Она поняла наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви? Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания, и, если поняла, послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою, и телом, чтоб понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому

книжное знакомство с этим новым миром скорбей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, в глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которое так удивило и поразило Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней.

*..... В одно собранье
Он едет; лишь вошел... ему
Она навстречу. Как сурова!
Его не видит, с ним ни слова;
У! как теперь окружена
Крещенским холодом она!
Как удержать негодованье
Уста упрямые хотят!
Вперил Онегин зоркий взгляд:*

*Где, где смятенье, состраданье?
Где пятна слез?.. Их нет, их нет!
На сем лице лишь гнева след...
Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной...
Всего, что мой Онегин знал...*

Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегиным. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне. В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокою натурою, развитою обществом! – все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искреннего чувства, и чистота, и святость наивных движений благородной природы, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения и хитрые силлогизмы ума, светскою моралью парализовавшего великодушные движения сердца... Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие:

Онегин, помните ль тот час,

Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я!
Сегодня очередь моя.

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? Одну суровость.
Не правда ль? Вам была не но-
вость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – боже! стынет кровь,
Как только вспомню взгляд хо-
лодный
И эту проповедь...

В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяной в том, что он не полюбил ее *тогда*, как она была *моложе* и *лучше* и любила его! Ведь для любви только и нужно, что молодость, – красота и взаимность! Вот понятия, заимствованные из плохих сентиментальных романов! Немая деревенская девочка с детскими мечтами – и светская женщина, испытанная жизнью и страданием, обретшая слово для выражения своих чувств и мыслей: ка-

кая разница! И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше!.. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина! А этот упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость? «Вам была не новость смиренной девочки любовь?» Да это уголовное преступление – не подорожить любвию нравственного эмбриона!.. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание:

*.....Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...*

Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна; а теперь приводит к ее ногам жажда скандальной славы. Во всем этом так и пробивается страх за свою добродетель...

Тогда – не правда ли? – в пустыне,

Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна;
Что муж в сраженьях изувечен;
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? Какая малость!
Как с вашим сердцем и умом

Быть чувства мелкого рабом?

В этих стихах так и слышится трепет за свое доброе имя в большом свете, а в следующих затем представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету... Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне...

*А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,
За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...*

Повторяем: эти слова так же непритворны и искренни, как и предшествовавшие им. Татьяна не любит света и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока

она в свете – его мнение всегда будет ее идеалом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью...

А счастье было так возможно,
Так близко!.. Но судьба моя
Уж решена; неосторожно,
Быть может, поступила я:
Меня с слезами заклинаний
Молила мать; для бедной Тани
Все были жребии равны...
Я вышла замуж. Вы должны,
Я вас прошу, меня оставить;
Я знаю: в вашем сердце есть
И гордость, и прямая честь.
Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

Последние стихи удивительны – подлинно *конец венчает дело!* Этот ответ мог бы идти в пример классического «высокого» (sublime) наравне с ответом Медеи: *moi!*[2] и старого Горация: *qu'il mourut!*[3] Вот истинная гордость женской добродетели! Но я другому *отдана*, – именно *отдана*, а не *отдалась!* Вечная верность – кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию

чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, не освящаемые любовью, в высшей степени безнравственны... Но у нас как-то все это клеится вместе: поэзия – и жизнь, любовь – и брак по расчету, жизнь сердцем – и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемых... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца; любить – значит для нее жить, а жертвовать – значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна невольно напомнила нам Веру в *Герое нашего времени*, женщину, слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежа вдруг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая: против этой истины не может быть никакого спора; но в Вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне и, любя ее, все-таки не захо-

тел бы слить с нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демонической натурой и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц: Татьяна – портрет во весь рост; Вера – не больше, как силуэт. И, несмотря на то, Вера – больше женщина... но зато и больше исключение, тогда как Татьяна – тип русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского, требуют от необыкновенной женщины презрения к общественному мнению. Это ложь: женщина не может презирать общественного мнения, но может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинувшись другому высшему закону – закону своей природы, а ее натура – любовь и самоотвержение...

Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном

из фазисов его образования, его развития, и с какою истиною, с какою верностью, как полно и художественно изобразил он его! Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего; не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов: все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству... Заметим одно: личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такою прекрасною, такою гуманною, но в то же время по преимуществу артистическою. Везде видите вы в нем человека, душою и телом принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса; короче, везде видите русского помещика... Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности: но принцип класса для него – вечная истина... И потому в самой сатире его так много любви, самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование... Вспомните описание семейства Лариных во второй главе, и особенно портрет самого Ла-

рина... Это было причиною, что в «Онегине» многое устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из «Онегина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе так быстро развивающейся...

«Онегин» писан был в продолжение нескольких лет, – и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее.^{5} Но последние две главы резко отделяются от первых шести: они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, притом же их так много! К лучшим принадлежат: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онегина с Ленским и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно, потому что в них все превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминание о Ленском), посещение Татьяною дома Онегина) как-то особенно выдается из всего глубокостию грустного чувства и дивно пре-

красными стихами... Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращения его к самому себе исполнены необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта в них является такую любящую, такую гуманную. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру русской природы, к миру русского общества! «Онегина» можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей, и на последующую русскую литературу? А ее влияние на нравы общества? Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него!.. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным... Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет «Онегина»: как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно лю-

бить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор... Эти строфы, которые так и просятся в заключение нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам высказать:

*Увы! на жизненных браздах,
Мгновенной жатвой, поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас.*

*Покамест упивайтесь его,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И к ней привязан мало я;
Для призраков закрыл я вежды;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа*

Мне было б грустно мир оста-
вить.

Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой просла-
вить.

Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.
И чье-нибудь он сердце тронет;
И сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете не потонет
Строфа, слагаемая мной;
Быть может, – лестная надеж-
да! —

Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мое благодаренье,
Поклонник мирных аонид.
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!{6}

Сноски

1

Неотступной мысли. – *Ред.*

[^^^]

2

«Я!» – *Ред.*

[^^^]

3

«Да умрет он!» – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

У Пушкина в издании 1841 года: «Гораздо меньше был умен» (т. I, стр. 42).

[^^^]

2

Пыхтин среди гостей Лариных не упоминается.

[^^^]

3

У Пушкина: «Для радостей, для неги сладкой».

[^^^]

4

В издании 1841 года здесь поставлено многоточие. В издании Акад. наук СССР, т. VI, этот стих читается: «Иль для боярских теремов» (стр. 437).

[^^^]

5

См. примеч. 386. (*текст примечания: ««Горе от ума» вышло отдельным изданием в 1833 году.»*)

[^^^]

6

«Евгений Онегин», гл. II, строфа XXXVIII.

[^^^]

[^^^]